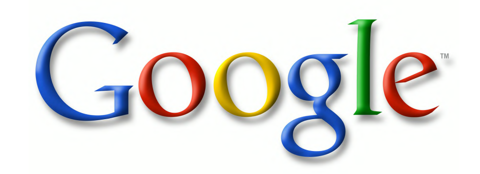
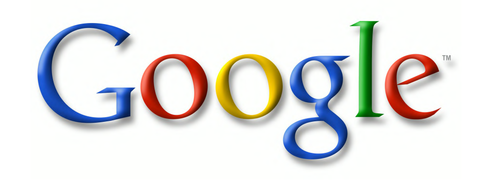





DK
209.6
.H57
P84
A 829,763


THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES SCIENTIA VERITAS
1817
LIBRARIES

Н. Бѣлозерскій.

А. И. Герценъ,

славянофилы и западники.

„Сѣверное книгоиздательство“.

№ 3.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1905



Н. Бѣлозерскій.

А. И. Герценъ, славянофилы и западники.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1905

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 17 Августа 1905 г.

Типографія Н. Фридберга, СПб., Б. Сампсоніевскій пр., 62.

Отъ автора.

Статьи, вошедшія въ настоящее изданіе, первоначально были помѣщены въ журналахъ „Вѣстникъ Европы" (ноябрь, 1898) и „Русская Мысль" (августъ, 1899). Такъ какъ для большинства русскихъ читателей сочиненія А. И. Герцена представляли въ то время „запретный плодъ", то — печатая указанныя статьи—я имѣлъ въ виду, главнымъ образомъ, познакомить читателей съ основными публицистическими взглядами этого писателя по нѣкоторымъ общимъ вопросамъ какъ русской, такъ и западно-европейской общественной жизни и исторіи. Этимъ соображеніемъ объясняется обиліе въ статьяхъ цитатъ и выдержекъ изъ произведеній Герцена, бывшихъ тогда недоступными для широкаго круга читающей русской публики.

Въ настоящее время, когда съ сочиненій Герцена снятъ, наконецъ, тяготѣвшій надъ ними запретъ въ Россіи и они вышли въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ, предлагаемая вниманію читателей брошюра можетъ представлять интересъ лишь въ качествѣ матеріаловъ для будущей біографіи талантливаго писателя, все еще ожидающаго своей надлежащей и всесторонней оцѣнки. Авторъ будетъ считать свою задачу исполненной, если эти скромные „матеріалы" помогутъ читателю разобраться въ томъ огромномъ идейномъ богатствѣ, какое оставилъ послѣ себя Герценъ, и нѣсколько облегчатъ трудную задачу характеристики его сложной и въ высокой степени интересной личности.

I

Общее философско-историческое міросозерцаніе Герцена.

Фр. Нитцше въ своей книгѣ „*Menschliches Allzumenschliches*“ говоритъ, что для наилучшаго изображенія всякаго значительнаго предмета слѣдуетъ заимствовать краски у него самого, такъ чтобы самые предѣлы и переходы красокъ создавали рисунокъ. Справедливая вообще, мысль эта является особенно справедливой по отношенію къ такой крупной личности, какъ А. И. Герценъ, сочиненія котораго отличаются не только удивительнымъ разнообразіемъ своего содержанія, но и глубокой искренностью изложенія.

Такъ какъ взгляды Герцена по тѣмъ вопросамъ, которые опредѣляютъ то или иное отношеніе писателя къ ученіямъ „западничества“ и „славянофильства“, тѣсно связаны съ его общимъ философско-историческимъ міросозерцаніемъ, то на характеристикѣ послѣдняго я и имѣю въ виду прежде всего остановить вниманіе своихъ читателей.

Чтобъ вполнѣ выяснить характеръ и сущность этого міросозерцанія, необходимо сказать нѣсколько словъ о философіи Гегеля, имѣвшей, какъ извѣстно, огромное вліяніе на все философское и политическое міровоззрѣніе поколѣнія, къ которому принадлежалъ Герценъ. Нигдѣ въ Европѣ

германскій философскій идеализмъ въ его окончательной формѣ—гегеліанствѣ не вызвалъ такого сочувствія и, можетъ быть, не нашелъ такого глубокаго пониманія, какъ въ Россіи, въ ученолитературномъ кружкѣ московскихъ западниковъ 30—40 годовъ. Въ исторіи русской мысли значеніе этой философской системы было такъ велико, что съ послѣдствіями его приходится считаться даже и въ наше время,—цѣлые полвѣка спустя послѣ того, какъ познакомилась съ Гегелемъ передовая русская интеллигенція.

Основною идеей философіи Гегеля была идея постепеннаго развитія,—«эволюціи»: въ жизни нѣтъ ничего вѣчнаго, неизмѣннаго, абсолютнаго; все существующее—лишь переходная стадія развитія. Этою своею идеей гегеліанство завоевало въ свое время весь мыслящій міръ и создало сильное и широкое умственное движеніе. Гегелемъ была впервые формулирована съ совершенно небывалою послѣдовательностью и смѣлостью система, составляющая едва ли не самое драгоцѣнное пріобрѣтеніе нашего положительнаго вѣка. Понятіе о прогрессѣ—одно изъ самыхъ интересныхъ и самыхъ характерныхъ понятій гегелевской философіи. Она признавала, что человѣчество, en masse, идетъ непрерывно впередъ, но при этомъ такъ, что всѣ достигнутые имъ ранѣе результаты могутъ оказаться требующими совершенной замѣны ихъ другими—новыми. Съ этой точки зрѣнія даже періоды видимаго упадка, самыя бѣдствія человѣческаго рода, составляютъ все-таки шагъ впередъ, потому что является при этомъ новый духъ, который, стремясь проявиться, разрушаетъ старыя, отжившія формы жизни. Пантеистическое пониманіе міра и человѣка, обоготвореніе жизни и исторіи, привели какъ мы знаемъ, философію Гегеля къ ученію Фейербаха, Штрауса и др. «фейербахистовъ», учившихъ объ единствѣ матеріи и духа, о томъ, что судить о сущности мы

можемъ лишь по ея внѣшнему проявленію. Это была въ гегеліанствѣ такъ называемая «лѣвая», къ которой примкнулъ впослѣдствіи и Герценъ, когда окончательно овладѣлъ философіей Гегеля.

Слѣдуя Фейербаху, Герценъ рѣшительно отвергаетъ возможность существованія идеи, сущности внѣ ея проявленія. Въ абстракціи,—говоритъ онъ,—мы, конечно, можемъ отдѣлить причину отъ дѣйствія, сущность отъ ея внѣшняго проявленія. но такое раздѣленіе только и возможно въ области человѣческой мысли, а не въ дѣйствительности. Дѣйствительная же жизнь, какъ все органическое, живое, жива только какъ цѣлое; при разъятіи на части, душа ея отлетаетъ и остаются однѣ мертвыя абстракціи съ трупнымъ запахомъ. Для насъ, изслѣдователей Герцена, важна въ данномъ случаѣ не та отвлеченная форма, въ которую вылилась мысль Герцена, а важны практическіе выводы, какіе послѣдній сдѣлалъ изъ нея. Если проявленія жизни и есть самая жизнь, если видимая и ощущаемая нами дѣйствительность—самая сущность жизни, то значитъ жизнь—дѣятельность, корень и источникъ всего.

Жить это—работать и стремиться впередъ, а не «грезить», хотя бы эти грезы и были порою пріятнѣе окружающей насъ дѣйствительности. Уже въ одномъ изъ самыхъ раннихъ своихъ произведеній «*Записки молодого человѣка*» (*«Отеч. Зап.» 1840 г., 12 кн.)* Герценъ упрекаетъ нѣмецкихъ мыслителей и поэтовъ за ихъ односторонность: при всей ихъ космополитической всеобщности въ нихъ недостаетъ, по его мнѣнію, цѣлаго элемента человѣчности, именно — практической жизни, и хотя они очень много пишутъ о конкретной жизни, но уже одно то, что они пишутъ о ней, а не живутъ ею, доказываетъ ихъ абстрактность. Такое же горячее сочувствіе автора къ практическимъ вопросамъ, къ людямъ жизни, въ противо-

положность съ мыслителями и поэтами, замѣтно и въ послѣдовавшей за только что указанной другой статьѣ Герцена *«Еще изъ записокъ молодого человѣка»* (*«Отеч. Зап.» 1841 г., 8 кн.)*. Для нашего времени мысль о томъ, что практическая жизнь—необходимый элементъ человѣчности, не представляетъ собой чего-либо новаго или оригинальнаго, но въ 40-хъ гг., когда романтическая струя била еще сильнымъ ключемъ, поднять вопросъ о практической жизни и дѣятельности было великою дерзостью, которую могли позволить себѣ лишь немногіе смѣльчаки.

Коснувшись вопроса о необходимости практической жизни, мы неизбѣжно должны нѣсколько остановиться на нравственной философіи Герцена, тѣсно связанной съ его публицистическими взглядами. Прекрасной иллюстраціей нравственнаго міровоззрѣнія Герцена можетъ служить надѣлавшій въ свое время большого шума его романъ *«Кто виноватъ»* *), построенный на развитіи и примиреніи тѣхъ нравственныхъ противорѣчій, среди которыхъ протекаетъ жизнь большинства людей. Общество и семья, по мнѣнію Герцена, это—гегелевскіе тезъ и антитезъ,—силы, находящіяся въ настоящее время въ упорной и непрерывной борьбѣ. Личное чувство, не примиряющееся съ общепринятыми формами ходячей морали, должно или глубоко запрятаться въ сердцѣ, совершенно заглушивши себя, или провозгласить свою независимость отъ этой морали. На вопросъ: кто виноватъ? этотъ романъ отвѣчаетъ такъ: виновата сама жизнь, самое свойство человѣческихъ душъ, не могущихъ отказаться отъ счастья и предвидѣть, какъ далеко зайдутъ ихъ собственныя чувства, и вслѣдствіе этого страдающихъ отъ всякаго рода случайностей, которыя наносятъ

*) *Отеч. Зап.* 1845 г. дек.; отдѣльныя изданія, болѣе раннія: 1847 г. (Праца) 1866 года (Ковалевскаго),

удары этимъ чувствамъ и разрушаютъ счастье. «Вся индивидуальная сторона жизни погружена въ темный лабиринтъ случайностей, пересѣкающихся, вплетающихся другъ въ друга,—говоритъ Герценъ въ своей статьѣ «*По поводу одной драмы*» (*Отеч. Зап.* 1843 г., кн. VII), — дикія физическія силы, непросвѣтленныя влеченія, встрѣчи имѣютъ голосъ, и изъ нихъ можетъ составиться согласный хоръ, но могутъ произойти и раздирающіе душу диссонансы...» Человѣкъ, строющій свой домъ на одномъ сердцѣ, строитъ его на огнедышащей горѣ. Тамъ, гдѣ жизнь подчинена чувствамъ, узко-эгоистическимъ интересамъ, не можетъ быть и рѣчи о какомъ-либо прочномъ счастьѣ. Чтобъ быть истинно счастливымъ, человѣкъ долженъ раскрыть всю свою душу *всему человѣческому*, долженъ страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности,—словомъ, развить эгоистическое сердце въ сердце «всескорбящее», болѣющее за своего ближняго. Въ гармоническомъ сліяніи начала личнаго и общественнаго, частнаго и всеобщаго, Герценъ видитъ единственный выходъ изъ противорѣчія, а вмѣстѣ съ тѣмъ—и единственный прочный залогъ истиннаго счастья для человѣка. Связать свою маленькую личную жизнь съ жизнью окружающаго насъ со всѣхъ сторонъ огромнаго общаго—это главная нравственная задача, которую долженъ поставить передъ собой каждый истинно-развитой и просвѣщенный человѣкъ. Таковъ практическій, житейскій выводъ, логически вытекающій изъ всей системы нравстенно-философскаго міропониманія нашего писателя.

Мы подошли теперь къ одному изъ главныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе интересныхъ вопросовъ въ публицистическомъ міровоззрѣніи Герцена—къ вопросу о роли личности въ исторіи. Безъ предварительнаго рѣшенія этого вопроса въ томъ или другомъ смыслѣ совершенно немыслима

какая бы то ни было общественная дѣятельность, тѣмъ болѣе публицистическая. Что самъ Герценъ придавалъ вопросу о роли личности важное значеніе, можно видѣть уже изъ одного того, что онъ возвращается къ этому вопросу при каждомъ удобномъ случаѣ, варьируя отвѣтъ на него на всевозможные лады, съ той удивительной образностью выраженій, какой отличается языкъ большей части его публицистическихъ работъ.

Мы только что видѣли, что жизнь частная, индивидуальная, представляется Герцену одной сплошной нелѣпостью, рядомъ безсмысленныхъ случайностей, пересѣкающихся другъ съ другомъ; не можетъ похвастаться своимъ „смысломъ“ и жизнь общая,—исторія человѣчества, которая, по убѣжденію Герцена, также развивалась только «нелѣпостями»: люди постоянно стремились за бреднями и лишь по дорогѣ достигали иногда положительныхъ результатовъ, практическихъ послѣдствій. «На яву сонные, они шли за радугой, искали то рай на небѣ, то небо на землѣ, а по дорогѣ пѣли свои вѣчныя пѣсни, построили Римъ и Аѳины, Парижъ и Лондонъ... Одно сновидѣніе уступаетъ другому, сонъ становится иногда тоньше, но иногда не проходитъ совсѣмъ». Отъ этого происходитъ то, что люци легко принимаютъ все на вѣру и даже готовы многимъ пожертвовать за свои убѣжденія, но съ ужасомъ отступаютъ назадъ, когда проникнетъ вдругъ въ раскрытую щель дневной свѣтъ или подуетъ свѣжій вѣтеръ разума и критики. Мученики первыхъ вѣковъ христіанства вѣрили въ искупленіе, вѣрили въ будущую жизнь; римляне смотрѣли на это иначе и заставляли «безумствующихъ» склоняться въ прахъ передъ августѣйшими изображеніями своихъ цезарей. Христіане не хотѣли сдѣлать этой маленькой уступки и за это ихъ травили звѣрями въ циркахъ, жгли на кострахъ, распинали на крестахъ. Они были сумасшедшіе, римляне-полоумные; тутъ нѣтъ

мѣста ни сочувствію, ни удивленію. «Но тогда прощай,—восклицаетъ Герценъ,—не только Ѳермопилы съ Голгоѳой, но и Софоклъ съ Шекспиромъ, да кстати и вся безконечно-длинная эпопея, которая безпрестанно идетъ далѣе подъ названіемъ исторіи!...» Во всю тысячу и одну ночь исторіи, какъ только накоплялось у людей немного просвѣщенія, дѣлались попытки пробудить сонное царство. Нѣсколько человѣкъ просыпались, протестовали противъ спячки остальныхъ, заявляли, что они проснулись, но другихъ добудиться всетаки не могли. Появленіе людей, протестовавшихъ противъ общественной неволи, противъ угнетенія личности—не новость въ исторіи человѣчества: они являлись обличителями настоящаго и пророками будущаго во всѣхъ сколько-нибудь назрѣвшихъ цивилизаціяхъ, особенно, когда послѣднія старѣли. Это—высшій предѣлъ,—«перехватывающая личность», какъ опредѣляетъ Герценъ такихъ людей,—явленіе въ высшей степени интересное, хотя и исключительное, рѣдкое, какъ геній и красота, какъ необыкновенный голосъ. Появленіе ихъ только доказываетъ возможностъ для человѣка развиваться, доходить до разумнаго пониманія вещей, но этимъ еще не разрѣшается вопросъ, можетъ ли это исключительное явленіе сдѣлаться общимъ. Исходя изъ данныхъ, представляемыхъ исторіей человѣчества, Герценъ рѣшаетъ этотъ вопросъ скорѣе отрицательно. «Люди еще не скоро почувствуютъ потребность здраваго смысла: развитіе мозга требуетъ своего времени, а въ природѣ, какъ мы знаемъ, нѣтъ торопливости. Если она могла цѣлыя тысячи лѣтъ лежать въ каменномъ обморокѣ, то надо полагать, что и историческаго бреда ей станетъ надолго. Люди, которые поняли, что это—сонъ, воображаютъ, что проснуться легко, и сердятся на спящихъ, совершенно забывая, что весь міръ, ихъ окружающій, не позволяетъ имъ проснуться...» Жизнь прохо-

дитъ рядомъ оптическихъ обмановъ, искусственныхъ потребностей и мнимыхъ удовлетвореній, въ чаду нелѣпостей и пустяковъ, отъ которыхъ нѣтъ силъ очнуться...

Искать въ исторіи и природѣ того внѣшняго и внутренняго порядка, который вырабатываетъ въ себѣ чистое мышленіе, совершенно независимое отъ какихъ-либо внѣшнихъ посторонних воздѣйствій, это значитъ вовсе не знать характера исторіи и природы,—увѣряетъ насъ Герценъ во 2-мъ изъ своихъ *писемъ о природѣ*. «Все равно, что бы историческое я ни начиналъ читать, вездѣ во всѣ времена открывалъ я разныя безумія, которыя соединялись въ одно всемірное помѣшательство. Бралъ ли я Тита Ливія или Муратори, Тацита или Гиббона,—никакой разницы; всѣ они доказываютъ одно, что исторія—ни что иное какъ связный разсказъ родового хроническаго безумія и его медленнаго излѣченія», такъ разсуждаетъ д-ръ Круповъ въ своемъ сочиненіи «*О душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности*" (*Соврем.* 1847 г., т. V). Разверните какую хотите исторію, вездѣ васъ поразитъ, что вмѣсто дѣйствительныхъ интересовъ всѣмъ заправляютъ мнимые, фантастическіе интересы; вглядитесь, изъ-за чего льется кровь, изъ-за чего выносятъ люди всевозможныя лишенія, что восхваляютъ и что порицаютъ, и вы ясно убѣдитесь въ несчастной на первый взглядъ истинѣ и истинѣ полной утѣшенія на второй взглядъ, что все это—слѣдствіе разстройства умственныхъ способностей. Замѣчательно,—продолжаетъ д-ръ Круповъ,—что внѣ домовъ умалишенныхъ между больными существуетъ какое-то тайное соглашеніе, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признаютъ пункты помѣшательства другъ въ другѣ. Явный и постоянный вредъ люди наносятъ себѣ самимъ въ силу своихъ предраз-

судковъ, своего явнаго и постояннаго стремленія къ цѣлямъ несущественнымъ и опущенія цѣлей дѣйствительныхъ. Это уже черта настоящаго безумія, т. е. такого состоянія, въ которомъ дѣйсвительность не имѣетъ силы надъ человѣкомъ. Мысль о всеобщемъ безумствѣ людей, которую высказывали еще мудрецы классической древности, представляется Герцену до того увлекательной, что онъ не могъ освободиться отъ нея въ теченіе всей своей литературной дѣятельности, и даже спустя двадцать лѣтъ послѣ появленія только что изложенной „психіатрической теоріи д-ра Крупова», онъ помѣстилъ въ *Полярной звѣздѣ* на 1869 годъ (вышедшей въ 1868 г.) посвященную тому же вопросу статью подъ заглавіемъ «*Aphorismata*», соч. прозектора и адъюнктъ-профессора Тита Левіаѳанскаго. Левіаѳанскій идетъ въ своемъ пессимизмѣ еще дальше д-ра Крупова и считаетъ большой ошибкой послѣдняго надежду на постепенное излеченіе человѣческаго рода. «Какъ же,— спрашиваетъ онъ,—постоянное состояніе какого-либо животнаго рода или вида можетъ излечиться? Это—не болѣзнь, а особенность, признакъ... Можетъ быть черезъ 1000 лѣтъ двумя-тремя безуміями будетъ меньше, но отсюда еще далеко до полнаго исцѣленія», о которомъ мечталъ Герценъ вмѣстѣ съ д-ромъ Круповымъ въ 1847 году.

Медленность развитія человѣчества, трудность борьбы съ историческою косностью и неподвижностью не должны все-таки смущать «людей дальняго идеала», пророковъ разума, провозвѣстниковъ лучшаго будущаго. Имъ мало дѣла до прикладныхъ затрудненій; они указываютъ на разумныя начала, къ которымъ общество неуклонно стремится, законы и общую формулу его движенія, предоставляя грядущимъ поколѣніямъ посильно осуществлять эти начала въ ежедневной борьбѣ сталкивающихся другъ съ другомъ интересовъ и партій. Какъ ни трудна борьба, какъ ни тернистъ

путь служенія обществу, но усилія отдѣльныхъ личностей не пропадаютъ безслѣдно, и хоть медленно, но непрерывно ведутъ человѣчество впередъ,—къ конечному торжеству истины и свободы, смутные силуэты которыхъ все яснѣе и яснѣе обрисовываются на горизонтѣ будущаго. Этой вѣрой въ творческую роль личности въ исторіи глубоко проникнуты всѣ произведенія Герцена, и если въ нихъ звучитъ мѣстами скептическая нотка, то объясняется это или временнымъ, чисто случайнымъ настроеніемъ, неизбѣжнымъ въ жизни каждаго искренняго публициста, или общимъ характеромъ психическаго склада Герцена, всегда страстнаго, способнаго порой увлекаться до противорѣчія самому себѣ, лишь бы только отстоять излюбленную идею, составляющую весь смыслъ его работы въ данный моментъ.

Роли личности въ исторіи Герценъ придаетъ очень большое значеніе, можетъ быть, гораздо большее, чѣмъ можно это признать въ наше время, спустя пятьдесятъ лѣтъ послѣ того, какъ появились въ печати первыя чисто-публицистическія работы Герцена. Нашъ вѣкъ «экономическаго матеріализма» не можетъ особенно благопріятствовать процвѣтанію культа человѣческой личности и ея творческаго могущества, но тогда было другое время, другіе идеалы... «Человѣческое участіе, — говоритъ Герценъ, — велико и полно поэзіи; это — своего рода творчество. Стихіямъ, матеріи все равно: онѣ могутъ дремать тысячелѣтія и даже вовсе не просыпаться, но человѣкъ шлетъ ихъ на свою работу и онѣ идутъ»... Природа никогда не борется съ человѣкомъ; по мнѣнію Герцена, это—только пошлый поклепъ на нее, отъ котораго было бы давно пора отказаться. Природа не можетъ идти противъ человѣка, если только самъ человѣкъ не перечитъ ея законамъ, считается съ ними; продолжая свое собственное творческое дѣло, она въ то же время безсозна-

тельно будетъ дѣлать и его дѣло. Люди знаютъ это и на этомъ основаніи владѣютъ морями и сушами, пытаются овладѣть воздухомъ, солнечною энергіей. Но еще болѣе глубокимъ и серьезнымъ можетъ быть вліяніе человѣка на исторію, которая, какъ и природа, никуда въ сущности не идетъ и потому готова идти всюду, куда ей укажутъ. «Не имѣя ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизація исторіи готова идти съ каждымъ; каждый можетъ вставить въ нее свой стихъ, и если онъ звученъ, то останется его стихомъ, пока поэма не оборвется»...

Въ безднѣ частностей, изъ взаимодѣйствія которыхъ другъ на друга и слагается въ сущности вся человѣческая исторія, отдѣльный человѣкъ имѣетъ полную возможность не только не затеряться безслѣдно, какъ песчинка въ морѣ, но и превратиться въ рулевого, гордо разсѣкающаго своимъ кораблемъ морскія волны. Глубоко вѣруя въ прогрессъ, въ непрерывность мірового развитія, Герценъ не приноситъ все-таки индивидуума въ жертву этому всепожирающему Молоху и пытается, насколько можетъ, отстоять человѣческую личность отъ поглощенія ея общими цѣлями исторіи. Нельзя быть самимъ собою, не имѣя рѣзкаго сознанія своей личности, не будучи эгоистомъ. Моралисты обыкновенно говорятъ объ эгоизмѣ, какъ о дурной привычкѣ, ни мало не объясняя при этомъ, почему слѣдуетъ непремѣнно брататься со всѣми, и что за долгъ такой любить всѣхъ на свѣтѣ. Въ дѣйствительности, нѣтъ никакой причины любить или ненавидѣть что-либо потому только, что оно существуетъ. Оставьте человѣка быть свободнымъ въ своихъ симпатіяхъ; онъ найдетъ кого любить и съ кѣмъ быть братомъ, если же онъ не найдетъ, это—его дѣло, его несчастье, потому что одинокая жизнь, не согрѣтая любовью, все равно, что темная холодная

ночь, едва ли могущая кого-либо плѣнить. Подчиненіе личности обществу, народу, чувству, идеѣ, Герценъ считаетъ продолженіемъ человѣческихъ жертвоприношеній, которыя лежатъ такимъ темнымъ пятномъ на прошломъ человѣчества. Лицо, истинная монада общества, всегда было приносимо въ жертву какому-нибудь общему понятію, собирательному имени, какому-нибудь знамени. Врагъ всякихъ фразъ, связывающихъ и покоряющихъ мысль, Герценъ въ главѣ *Consolatio*, съ эпиграфомъ изъ Гейне: «Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein», говоритъ, что не слѣдуетъ никогда забывать, что человѣкъ любитъ подчиняться, онъ ищетъ всегда къ чему-нибудь прислониться, за что-нибудь спрятаться. Въ немъ нѣтъ гордой самобытности хищнаго звѣря. Въ теченіе всей своей исторіи человѣкъ росъ, какъ совершенно справедливо говоритъ Герценъ, въ повиновеніи семейномъ, племенномъ, государственномъ; чѣмъ сложнѣе и круче связывался узелъ общественной жизни, тѣмъ въ большее рабство впадали люди. Пора, наконецъ, освободить человѣка изъ подобнаго унизительнаго состоянія; пора понять, наконецъ, что человѣкъ живетъ на землѣ не для совершенія судебъ (о которыхъ намъ ничего не извѣстно), не для воплощенія идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился — и родился *для настоящаго* (что вовсе не мѣшаетъ ни получить наслѣдство отъ прошедшаго, ни оставлять кое-что послѣ себя будущимъ поколѣніямъ). Пора взглянуть на исторію съ ея естественной, физіологической точки зрѣнія. Какъ цѣль, какъ утѣшеніе, прогрессъ не имѣетъ никакого смысла. Если же ему придаютъ значеніе цѣли или утѣшенія, то онъ обращается тогда въ горькую обиду для человѣческой личности, становится насмѣшкой надъ нею, какъ отрицаніе ея свободы.

Родовой ростъ Герценъ считаетъ не цѣлью жизни, а свойствомъ преемственно продолжаю-

щагося существованія поколѣній. Цѣль для каждаго поколѣнія—это оно само, потому что природа не только никогда не дѣлаетъ поколѣній средствами для достиженія будущаго, но она вовсе не заботится объ этомъ будущемъ. Все великое значеніе человѣка при всей его ничтожности въ томъ-то и заключается, что пока мы живы,—мы сами, а не куклы, назначенныя выстрадать прогрессъ или воплотить какую-то бездомную идею. Вы должны гордиться тѣмъ, что „мы не нитки и не иголки въ рукахъ фатума, шьющаго пеструю ткань исторіи; мы знаемъ, что ткань эта не безъ насъ шьется, но это не цѣль наша, не назначенье, а неизбѣжное послѣдствіе той сложной круговой поруки, которая связываетъ все существующее концами и началами, причинами и дѣйствіями. Мы даже можемъ перемѣнить узоръ историческаго ковра: «хозяина нѣтъ, рисунка нѣтъ, одна основа, да мы одни-одинехоньки". „Прежніе ткачи судьбы, всѣ эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить»; душеприказчики скрываютъ отъ насъ завѣщаніе, но намъ оно и не нужно, пожалуй, потому что покойники завѣщали намъ свою власть... Было время, когда «исторію дѣлали» въ тиши правительственныхъ кабинетовъ, на разныхъ дипломатическихъ и другихъ конгрессахъ и съѣздахъ. Теперь другія времена настали: эпоха дипломатическихъ перешептываній, международныхъ танцевъ и попоекъ съ государственными цѣлями, переодѣваній изъ мундира въ мундиръ, невозвратно канула въ вѣчность вмѣстѣ съ вѣрой въ какой-нибудь жизненный эликсиръ. Хоть и не такъ скоро, но люди догадались, наконецъ, что исторія вовсе не такая аристократка, какой ее долго считали, и что она дѣлается не на придворномъ балѣ и не въ таинственныхъ канцеляріяхъ департаментовъ; что «пиши какой хочешь важный вздоръ на бумагѣ, а явится Гарибальди—и исторія пойдетъ съ нимъ подъ руку,

куда онъ ее поведетъ». Передъ каждымъ, у кого только что-нибудь есть за душой, открытыя двери; есть что сказать человѣку,—пусть говоритъ: слушать будутъ; мучитъ его душу убѣжденіе, пусть проповѣдуетъ... «Люди не такъ покорны, какъ стихіи, но мы всегда имѣемъ дѣло съ современной намъ массой: ни она не самобытна, ни мы не независимы отъ общаго фона картины, отъ разнаго рода предшествовавшихъ вліяній... Теперь вы понимаете, отъ кого и кого зависитъ будущность людей, народовъ?—спрашиваетъ Герценъ и самъ отвѣчаетъ на свой вопросъ: да отъ насъ съ вами, напримѣръ!.. Какъ же послѣ этого намъ сложить руки?»

Среди нравственной дряблости, господствующей кругомъ, въ эпоху полнаго общественнаго индифферентизма, характеризующаго всякое «переходное время» какимъ были для Россіи 40—50-ые годы, голосъ, поднявшій вопросъ о смыслѣ жизни и призывавшій къ общественной дѣятельности, къ борьбѣ за лучшіе идеалы,—великій спасительный голосъ, за который рано или поздно потомство принесетъ глубокую благодарность. Но услуга, оказанная Герценомъ проясненію нашего общественнаго самосознанія, представится намъ особенно высокой и благородной, если мы вспомнимъ, *при какихъ условіяхъ* общественно-государственной жизни Россіи раздавался этотъ мощный призывъ къ жизни и дѣятельности, къ служенію своему народу.

II

Мнимое «разочарованіе» Герцена въ З. Европѣ и взгляды его на характеръ и внутренній смыслъ западно-европейской общественной жизни.

Былъ-ли Герценъ славянофиломъ или западникомъ, и къ кому изъ нихъ онъ долженъ быть поставленъ ближе—вопросъ наименѣе другихъ выясненный изслѣдователями его публицистической дѣятельности. Въ то время, какъ одни считаютъ Герцена наиболѣе яркимъ и типичнымъ представителемъ такъ называемаго «западническаго» направленія, другіе причисляютъ его къ «славянофильскому» лагерю. Біографъ Герцена, В. Д. Смирновъ, *) рѣшительно заявляетъ, что «славянофиломъ Герценъ не былъ никогда и не могъ быть: его жизненнный опытъ и темпераментъ по необходимости дѣлали его человѣкомъ другого лагеря». Г-нъ Смирновъ, правда, ничѣмъ не подкрѣпляетъ своего отрицанія въ Герценѣ славянофильства, а потому оно и не можетъ быть особенно убѣдительно. Въ то же время, съ другой стороны, извѣстный публицистъ славянофильскаго лагеря, Н. Страховъ, въ статьѣ своей: «Главное открытіе Герцена», пытается убѣдить читателей въ томъ, что Герценъ былъ истиннымъ славянофиломъ въ томъ именно смыслѣ этого

*) „Жизнь и дѣятельность А. И. Герцена въ Россіи и за границей“, СПб., изд. 1897 г.

слова, какъ его понимаетъ самъ Н. Страховъ. «Съ невыразимой силой,—говоритъ онъ,—въ немъ (т.-е. въ Герценѣ) вкоренилось убѣжденіе, что *Западъ страдаетъ смертельными болѣзнями, что его цивилизаціи грозитъ неминуемая гибель, и что нѣтъ въ немъ живыхъ началъ,* которыя бы могли спасти его. Хорошо зная Зап. Европу, Герценъ пришелъ къ заключенію, что на Западѣ нѣтъ живого духа, что всѣ его (т.-е. Запада) мечты не имѣютъ внутренней силы, что одно вѣрно и несомнѣнно— смерть, духовное вырожденіе, гибель всѣхъ формъ тамошней жизни, всей западной цивилизаціи»... («Мнимая борьба съ Западомъ», стр. 53). Желая во что бы то ни стало сдѣлать Герцена славянофиломъ, Страховъ приписываетъ ему такіе взгляды которые, конечно, гораздо ближе къ взглядамъ самого автора, чѣмъ къ міровоззрѣнію Герцена, насколько послѣднее выразилось въ его публицистическихъ работахъ.

Всѣмъ извѣстно, съ какимъ благоговѣйнымъ восторгомъ относился Герценъ къ З.-Европѣ, когда еще только мечталъ о ней, проживая въ Россіи. Даже такія крупныя и въ то время болѣе Герцена опредѣлившіяся личности, какъ Бѣлинскій, Грановскій, «были ослѣплены сіяніемъ Запада»: контрастъ между русской дѣятельностью и западно-европейскимъ общественнымъ строемъ былъ слишкомъ неблагопріятенъ для первой, чтобъ можно было устоять противъ „ослѣпленія“ послѣднимъ. «Было время, — говоритъ Герценъ,— когда въ ссылкѣ, вблизи Уральскаго хребта, я облекалъ Европу фантастическими красками; я тогда вѣрилъ въ Европу и особенно во Францію. Я воспользовался первой минутой свободы, чтобъ летѣть въ Парижъ,—это было еще до февральской революціи»... «Это были времена наивной вѣры», пишетъ онъ нѣсколько лѣтъ спустя послѣ этого въ своей статьѣ «Colonie russe» (Paris-Guide, 1867 г.). Разочарованіе Герцена въ Зап.-Европѣ

начинается съ 1848 года: благоговѣйно-восторженное отношеніе смѣняется холоднымъ скептицизмомъ, переходящимъ порой въ полное отчаяніе передъ тѣмъ будущимъ, которое ожидаетъ Европу. Францiя была первой страной, обманувшей Герцена въ его ожиданіяхъ и надеждахъ. Когда пришлось подводить итоги февральской революціи, они оказались далеко не такими, на какіе расчитывали всѣ искренніе друзья свободы, съ глубокимъ интересомъ слѣдившіе за великой исторической драмой, разыгрывавшейся на берегахъ Сены. Причиной этой неудачи Герценъ считаетъ главнымъ образомъ національный характеръ французовъ, особенности ихъ психическаго склада. «Французы оказались французами,—не больше,— пишетъ онъ:—это народъ, который богатъ инициативой въ дѣятельности, но бѣденъ въ мышленіи; онъ думаетъ принятыми понятіями, въ принятыхъ формахъ; онъ даетъ пошлымъ идеямъ модный покрой—и доволенъ этимъ»... Фраза—разъ она высказана громко, или облечена въ красивую, блестящую форму—имѣетъ въ жизни этого народа огромное, часто рѣшающее значеніе: ей охотно вѣрятъ, за нею идутъ... Въ минуты увлеченія ею французскій народъ грозно поднимается, такъ взбаламученное море, и смѣло вступаетъ въ борьбу со зломъ, беретъ Бастилію, разбиваетъ цѣлыя арміи. Но по мѣрѣ того, какъ онъ одолѣваетъ врага, силы его слабѣютъ, умъ тускнѣетъ, энергія исчезаетъ, и народъ дѣлается совершенно равнодушнымъ къ тому, за что еще такъ недавно проливалъ свою кровь. Съ этими мыслями не можетъ не согласиться всякій, кто знакомъ съ Франціей и французами не по однѣмъ книжкамъ о ней, но и путемъ личныхъ наблюденій надъ ея жизнью, надъ психическимъ складомъ этого въ высшей степени впечатлительнаго и чуткаго къ красивой фразѣ народа. Но помимо причинъ внутреннихъ, лежащихъ въ психическихъ особенностяхъ фран-

цузской націи, были, конечно, и причины внѣшнія, помѣшавшія осуществленію тѣхъ надеждъ, какія возлагались на движеніе 48-го года: въ наше время, полвѣка спустя, мы относимся къ оцѣнкѣ этихъ причинъ и слѣдствій гораздо спокойнѣе и объективнѣе, но въ тѣ «печальные дни», когда Герценъ писалъ о Франціи, рана, нанесенная дѣйствительностью его надеждамъ, была еще слишкомъ свѣжа, чтобъ мы могли требовать отъ него спокойствія и безпристрастія, какія возможны для поколѣній XX столѣтія. Вотъ почему слѣдуетъ осторожно относиться какъ къ «разочарованію» Герцена въ Европѣ, такъ и ко всѣмъ тѣмъ «горькимъ мыслямъ», которыя вылились изъ-подъ его пера подъ вліяніемъ этого разочарованія.

Республика, какъ понимала ее вся Франція въ 1848—49 годахъ, представляется Герцену плодомъ теоретическихъ измышленій, отвлеченной формулой,—«апоѳеозомъ существующаго государственнаго порядка»; такая республика—«послѣдняя мечта, поэтическій бредъ стараго міра»... Народъ не вѣритъ теперь въ республику—и превосходно дѣлаетъ; пора перестать вѣрить въ какую бы то ни было единую спасающую формулу. Формальная республика показала себя послѣ іюньскихъ дней. Теперь начинаютъ помнить несовмѣстимость равенства и братства съ этими капканами, называемыми устоями свободы,—и съ этими бойнями, извѣстными подъ именемъ военно-судныхъ комиссій; теперь никто не вѣритъ въ подтасованныхъ присяжныхъ, которые рѣшаютъ въ жмурки судьбу людей безъ апелляціи, — въ гражданское устройство, защищающее только собственность, ссылающее людей въ видѣ мѣры общественнаго спасенія, содержащее хоть сто человѣкъ постояннаго войска, которые, не спрашивая причины, готовы спустить курокъ по первой командѣ. Такая республика не могла, разумѣется, расчитывать на сочувствіе къ ней народныхъ

массъ, а слѣдовательно—и на прочность существованія; она неизбѣжно должна была превратиться въ имперію... И дѣйствительно, не прошло и пяти лѣтъ, какъ Наполеонъ III провозгласилъ себя императоромъ, а великій Парижъ, «очагъ безумныхъ надеждъ и дерзкихъ упованій», сталъ быстро превращаться въ огромный веселый трактиръ, «караванъ-сарай всей Европы».

Вслѣдъ за «разочарованіемъ» въ Парижѣ и Франціи начались и другія разочарованія. Римъ палъ подъ ударами французовъ, Баденъ былъ захваченъ пруссаками. Венгрію усмирялъ кн. Паскевичъ Эриванскій... Прояснившійся-было на короткое время горизонтъ политической жизни Зап.-Европы снова заволокло густымъ туманомъ. Теперь мы знаемъ, что этотъ туманъ не могъ помѣшать дальнѣйшему развитію тѣхъ освободительныхъ идей, которыя лежали въ основаніи политическихъ движеній Европы въ 1848 году. Спустя десять лѣтъ, началось объединеніе Италіи, которая своимъ недавнимъ торжественнымъ празднованіемъ пятидесятилѣтія своей конституціи съумѣла вполнѣ достойнымъ образомъ показать всему цивилизованному міру, чѣмъ именно она обязана 48-му году. Благодаря ему именно, Венгрія пріобрѣтаетъ въ составѣ австрійской имперіи съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе доминирующую роль, что должно будетъ привести въ концѣ концовъ, и—можетъ быть—въ самомъ недалекомъ будущемъ, къ полной политической автономіи венгерскаго народа. Чѣмъ былъ 1848-ой годъ для Германіи, можно хорошо видѣть изъ преній, происходившихъ въ германскомъ рейхстагѣ во время мартовской сессіи, 1898 года. Когда консервативный депутатъ Путткамеръ, въ отвѣтъ на рѣчь Бебеля, сказалъ, что «за такимъ злоупотребленіемъ, какъ возстаніе 18 марта, должна была неизмѣнно наступить реакція»,—изъ группы свободомыслящихъ поднялся извѣстный

адвокатъ Мункель, убѣжденный либералъ, но далеко не сторонникъ какихъ-нибудь радикальныхъ идей. «Путткамеръ не могъ выбрать болѣе неудачнаго мѣста для своихъ нападокъ на 48-годъ,— сказалъ Мункель:—этого рейхстага не было бы, какъ не существовала бы и объединенная Германія, если бы не было 48-го года. День 18 марта для насъ день траура, потому что грустно всякое зрѣлище междоусобной войны; но это и день радости, потому что отъ него начинается новая жизнь. Съ трибуны рейхстага я считаю долгомъ заявить, что пока въ Германіи не исчезнетъ любовь къ родинѣ и стремленіе къ свободному развитію, до тѣхъ поръ нѣмцамъ не придется стыдиться 18 марта 1848 года». Для Германіи 18-ое марта означаетъ то же самое, что означало 24 февраля для Франціи. Въ библіотекѣ берлинской городской думы намъ показывали особую комнату, гдѣ собрано до десяти тысячъ томовъ книгъ, брошюръ и рисунковъ, относящихся къ событіямъ 1847 года. Будущій историкъ Германіи найдетъ въ этой сокровищницѣ богатый матеріалъ для характеристики этой замѣчательной эпохи и ея ближайшихъ послѣдствій; но уже и въ наше время ясно для каждаго не предубѣжденнаго человѣка, что именно «безумному» 48-му году Германія обязана учрежденіями, которыми одинаково дорожатъ всѣ мыслящіе нѣмцы, какъ бы они ни расходились въ своихъ взглядахъ по другимъ вопросамъ общественнаго устройства.

О значеніи историческихъ событій гораздо легче судить, имѣя необходимую для правильной оцѣнки перспективу, чѣмъ подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ совершающихся на нашихъ глазахъ событій. Герценъ не имѣлъ передъ собой такой перспективы, и поэтому въ своихъ сужденіяхъ о событіяхъ 48-го года и ихъ послѣдствіяхъ онъ слишкомъ сильно поддается субъективному настроенію, мѣшающему ихъ безпристрастной

оцѣнкѣ. Что̀ пережилъ онъ въ короткіе дни «томительной неизвѣстности относительно будущаго»—даетъ ясное понятіе его отзывъ о революціонной бурѣ, пронесшейся надъ Европой. «Мы довольно долго изучали, — писалъ онъ, — хилый организмъ Европы во всѣхъ слояхъ, и вездѣ находили вблизи перстъ смерти, и только изрѣдка, вдали, слышалось пророчество. Мы сначала тоже надѣялись, вѣрили, старались вѣрить. Предсмертная борьба такъ быстро искажала одну черту за другой, что нельзя было обманываться. Жизнь потухала, какъ послѣднія свѣчи въ окнахъ, прежде разсвѣта. Сложа руки, мы смотрѣли на страшные успѣхи смерти. Что̀ мы видѣли въ февральской революціи? Довольно сказать, что мы были молоды два года тому назадъ и стары теперь». Было время, когда слово «республика» заставляло усиленно биться сердце Герцена, а теперь, послѣ 1848—51 годовъ, слово это возбуждаетъ въ немъ «столько же надеждъ, сколько и сомнѣній». «Развѣ мы не видѣли,—спрашиваетъ онъ въ своемъ журналѣ, — что республика съ правительственной инициативой, съ деспотической централизаціей, съ огромнымъ войскомъ, гораздо меньше способствуетъ свободному развитію, чѣмъ англійская монархія, безъ инициативы, безъ централизаціи? Развѣ мы не видѣли, что французская демократія, т. е. равенство въ рабствѣ,—самая близкая форма къ безграничному самовластію?» (1 янв. 1859 г.). «Утративъ вѣру въ слова и знамена, въ канонизированное человѣчество и единую спасающую церковь западной цивилизаціи, я вѣрилъ въ нѣсколько человѣкъ, вѣрилъ въ себя. Видя, что все рушится, я хотѣлъ спастись, хотѣлъ начать новую жизнь, бѣжать, скрыться... Я стучался, какъ путникъ потерявшій дорогу, какъ нищій, во всѣ двери, останавливалъ встрѣчныхъ и разспрашивалъ о дорогѣ; но каждая встрѣча и каждое событіе вели къ одному результату: я уцѣлѣлъ, но *безъ всего*».

Въ этомъ «безо всего», какъ мы увидимъ изъ послѣдующаго, было сильное преувеличеніе: изъ своихъ наблюденій надъ западно-европейской общественной жизнью Герценъ вынесъ не только разочарованіе въ Европѣ съ ея «мѣщанствомъ», глубоко внѣдрившимся въ соціальную жизнь Запада, но и вѣру въ лучшее будущее, зародышъ котораго заключается въ самомъ буржуазномъ строѣ Европы. Сила европейскаго «мѣщанства», его живучесть, поражали и возмущали Герцена на каждомъ шагу, въ каждой странѣ, съ общественной жизнью которой ему приходилось соприкасаться въ годы своихъ заграничныхъ скитаній. Онъ считаетъ «мѣщанство» грозной и могучей силой, совершенно перевернувшей весь складъ европейской жизни: рыцарская доблесть, изящество аристократическихъ нравовъ, строгая чинность протестантовъ, гордая независимость англичанъ, роскошная жизнь итальянскихъ художниковъ, искрящійся умъ энциклопедистовъ и мрачная энергія террористовъ—все это переплавилось и выродилось въ «мѣщанство», которое представляетъ въ настоящее время цѣлое, вполнѣ законченное міровоззрѣніе съ своимъ собственнымъ нравственнымъ кодексомъ, со своимъ добромъ и зломъ, со своими правилами и преданіями. Рыцарская честь замѣнилась бухгалтерской честностью, гордость — обидчивостью, вѣжливость—чопорностью, дворцы и зàмки — гостинницами, открытыми для всѣхъ, у кого есть деньги. Вся нравственность свелась на то, что неимущій долженъ всѣми средствами пріобрѣтать, а имущій—хранить и увеличивать свою собственность. Человѣкъ сдѣлался, такимъ образомъ, принадлежностью собственности, а общественная жизнь свелась на непрерывную и жестокую борьбу за существованіе, за средства къ жизни, за то или другое соціальное положеніе. Такъ какъ общество, построенное на такихъ анти-соціальныхъ

началахъ, существовать долго не можетъ, то и западно-европейскій общественный строй, несмотря на всю его кажущуюся прочность, постепенно разлагается, умираетъ.

Но «умираетъ» не самый міръ западно-европейскій, какъ думаютъ наши славянофилы, а умираютъ тѣ внѣшнія формы, въ которыхъ проявляется общественная жизнь западно-европейскихъ народовъ. Историческія формы этой жизни не соотвѣтствуютъ больше современнымъ условіямъ, современному пониманію жизни; но это пониманіе развилось здѣсь же—на Западѣ, и съ тѣхъ поръ какъ оно было сознано и высказано, оно сдѣлалось общечеловѣческимъ достояніемъ всѣхъ мыслящихъ людей любой просвѣщенной страны земного шара. «Западъ носитъ въ себѣ зародышъ, — говоритъ Герценъ, — но желаетъ, какъ французская свѣтская дама, продолжать прежнюю жизнь, и дѣлаетъ все, чтобы произвести абортивъ. Кто изъ нихъ останется живъ, мать ли, ребенокъ ли, или какъ они примирятся, этого мы не знаемъ. Но что мать представляетъ больше воспоминаній, а зародышъ больше надеждъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣній»... «Мѣщанская Европа изживетъ свою бѣдную жизнь въ сумеркахъ тупоумія; слабыя, вырождающіяся поколѣнія протянутся какъ-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая покроетъ ихъ каменнымъ покрываломъ и предастъ забвенію лѣтописей. А затѣмъ настанетъ весна, молодая жизнь закипитъ на гробовой доскѣ только-что похороненнаго прошлаго; варварство младенчества, полное неустроенныхъ, но здоровыхъ силъ, замѣнитъ старческое варварство, дикая свѣжая мощь распахнется въ молодой груди новыхъ народовъ, выступившихъ на историческую арену, и тогда начнется новый кругъ событій,— третій томъ всеобщей исторіи». Объ основномъ его характерѣ, по представленію Герцена, можно легко догадаться: онъ будетъ принадлежать со-

ціализму. Соціализмъ, по его мнѣнію, это — «необходимое послѣдствіе», «живой силлогизмъ, неизбѣжно вытекающій изъ тѣхъ посылокъ, которыя созданы современной общественной жизнью цивилизованныхъ народовъ». Но и при этомъ Герценъ не считаетъ этотъ «силлогизмъ» послѣднимъ словомъ историческаго развитія человѣчества, и думаетъ, что когда соціализмъ разовьется во всѣхъ своихъ фазахъ и займетъ мѣсто нынѣшняго консерватизма, онъ будетъ въ свою очередь побѣжденъ новою, неизвѣстною намъ революціей... Это неизбѣжно, потому что этого требуетъ «вѣчная игра жизни, corsi e ricorsi исторіи, perpetuum mobile жизни»...

Одною изъ любимыхъ и—можетъ быть—болѣе другихъ обоснованныхъ мыслей Герцена въ области его историческаго міросозерцанія, является мысль о сходствѣ переживаемой нами эпохи съ другой, болѣе отдаленной эпохой, — временемъ появленія на землѣ христіанства. Эта мысль о параллелизмѣ этихъ двухъ эпохъ проходитъ яркой полосой черезъ большую часть публицистическихъ работъ Герцена, составляя собою основаніе его взглядовъ на историческіе судьбы Европы, ея прошлое, настоящее и ожидающее впереди будущее. Восемнадцать вѣковъ тому назадъ, когда появилось на землѣ христіанство, старый міръ не могъ быть спасенъ ни щегольскими фразами Цицерона, съ его жиденькой моралью, ни вольнодумствомъ Лукіана, — этого Вольтера древнихъ римлянъ, ни нѣмецкой философіей Прокла. Но не надо забывать, что одинаково онъ не могъ быть спасенъ ни элевзинскими таинствами, ни Аполлономъ Тіанскимъ, ни всѣми опытами продолжить и воскресить язычество. Это было не только невозможно, но—какъ оказывается—и не нужно, потому что старый міръ окончательно дожилъ свой вѣкъ, чтобъ уступить дорогу новому

міру, идущему ему на смѣну. Въ наше время «новый міръ» точно такъ же приближается къ концу, какъ тогда. Правда, всѣ появлявшіяся до сихъ поръ (мы разумѣемъ здѣсь, конечно, только эпоху Герцена, т. е. 40—60 годы, а не наше время) новыя школы и ученія о преобразованіи стараго міра въ новый крайне бѣдны по своему содержанію: «это только первый лепетъ, чтеніе по складамъ», какъ выражается Герценъ. «Но кто же не видитъ,—спрашиваетъ онъ дальше,—не чуетъ сердцемъ огромнаго содержанія, просвѣчивающаго черезъ одностороннія попытки, или кто станетъ казнить дѣтей за то, что у нихъ трудно рѣжутся зубы?» Описывая положеніе римскихъ философовъ въ первые вѣка христіанства, Герценъ находитъ въ этомъ положеніи много сходнаго со своимъ собственнымъ: они также были во враждѣ съ прошедшимъ, у нихъ также ускользало и настоящее, и будущее. „Но они умѣли величаво и гордо дожидаться, пока разгромъ захватитъ кого-нибудь изъ нихъ, умѣли умирать, не напрашиваясь на смерть, но и безъ притязанія спасти себя или міръ; они умѣли, пощаженные смертью, завертываться въ свою тогу и въ молчаніи ожидать, что станетъ съ Римомъ»...

Послѣднее время, передъ вступленіемъ въ новую фазу жизни, становится тягостно, невыносимо для всякаго мыслящаго человѣка; всѣ вопросы принимаютъ какой-то «скорбный» характеръ: люди готовы принять самое нелѣпое ихъ рѣшеніе, лишь бы успокоиться. Фанатическія вѣрованія идутъ рядомъ съ холоднымъ невѣріемъ, безумныя надежды — объ руку съ отчаяніемъ; томитъ предчувствіе, хочется событій, а повидимому, ничто вокругъ не совершается. «Промежуточныя поколѣнія», на долю которыхъ выпало жить въ такія «переходныя времена», погибаютъ на полдорогѣ, отъ изнуренія, отъ потери силъ. «Бѣдныя выморочныя поколѣнія! — восклицаетъ

Герценъ:—они не принадлежатъ ни къ тому, ни къ другому міру, — они несутъ всю тягость зла прошедшаго и отлучены отъ всѣхъ благъ будущаго»... Тоска современной жизни представляется Герцену тоской сумерекъ, тоской перехода, предчувствія: извѣстно, что даже звѣри безпокоятся передъ землетрясеніемъ. Къ тому же жизнь какъ будто остановилась въ своемъ развитіи и судорожно топчется на одномъ мѣстѣ: одни хотятъ силой раскрыть двери будущему, другіе—такъ же насильственно,—не выпускаютъ прошедшаго. У однихъ впереди пророчества; у другихъ—воспоминанія. Вмѣсто того, чтобы похоронить покойника и дать возможность вздохнуть наслѣдникамъ, люди непремѣнно хотятъ вылечить его, и всячески задерживаютъ; вмѣсто того, чтобы провозгласить: vive la mort! и да водрузится будущее, они только мѣшаютъ другъ другу, и тѣ и другіе стоятъ въ болотѣ... Но стоять долгое время въ болотѣ, не двигаясь при томъ съ мѣста, нельзя безнаказанно: необходимо найти какой-нибудь выходъ изъ подобнаго положенія. Выходъ этотъ— въ признаніи, что человѣческое развитіе, человѣческая мысль достигли до одного изъ тѣхъ рубежей, которые разрываютъ всемірную исторію на огромныя законченныя части: между ними ложатся, какъ между материками, цѣлые океаны. Жертва, которой требовало восемнадцать вѣковъ тому назадъ христіанство отъ античнаго міра, была мала сравнительно съ той, которая потребуется теперь. «Христіанство за землю давало небо, за Олимпъ—Голгоѳу, за безсмысленный Рокъ—сознательный Промыселъ, за потерю временнаго богатства на землѣ—вѣчное блаженство въ раю. У новаго свѣта, толкущагося въ двери исторіи, нѣтъ неба, нѣтъ рая; въ немъ можетъ выиграть только тотъ, кому нечего терять»... Вотъ почему, подъ знамя новой вѣры, новыхъ ученій, идутъ прежде всего всѣ униженные и обиженные на

землѣ,—всѣ, кому живется голодно и холодно среди сытаго довольства обезпеченныхъ классовъ. Въ то время, какъ послѣдніе дѣлаютъ все возможное, чтобъ задержать неумолимый ходъ исторической эволюціи, освободительное движеніе захватываетъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе широкіе слои трудящихся народныхъ массъ не только во всѣхъ странахъ Западной Европы, но и въ другихъ частяхъ свѣта, постепенно втягиваемыхъ въ общій міровой круговоротъ идейнаго и матеріальнаго общенія между собою.

Таково въ общихъ чертахъ «разочарованіе» Герцена въ Европѣ, въ строѣ западно-европейской общественной жизни. Въ этомъ разочарованіи нѣтъ ни дряблой старческой ворчливости, съ какой относятся къ «гнилому Западу» наши славянофилы и самобытники, ни того безнадежнаго отчаянія въ будущемъ, голоса котораго раздаются по временамъ въ средѣ зап.-европейскаго общества. Напротивъ, убѣжденный и послѣдовательный «эволюціонистъ», Герценъ глубоко вѣритъ въ непрерывность человѣческаго развитія, въ неизбѣжность замѣны однѣхъ формъ общественной жизни, отжившихъ, другими—новыми, болѣе соотвѣтствующми измѣнившимся общественнымъ отношеніямъ. Этой вѣрой въ «новый міръ», грядущій на смѣну стараго, проникнуты особенно сильно позднѣйшія произведенія Герцена, написанныя имъ въ періодъ болѣе спокойнаго и потому болѣе безпристрастнаго отношенія къ окружавшей его дѣйствительности. Несмотря на колебанія и сомнѣнія, которыя часто приходилось ему переживать подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ внѣшнихъ обстоятельствъ его скитальческой жизни, онъ не измѣнилъ этой вѣрѣ до конца своей жизни. По весьма удачному выраженію г. Смирнова, Герценъ иногда «отходилъ» отъ себя то въ ту, то въ другую сторону (но никогда слишкомъ далеко), и всегда оставался вѣрнымъ самому

себѣ,—тому внутреннему человѣку, какимъ онъ успѣлъ сложиться еще до начала своей публицистической дѣятельности.

Покончивъ со взглядами Герцена на сущность и характеръ западно-европейской общественной жизни, посмотримъ теперь, какъ относился Герценъ къ вопросамъ русской исторіи, къ современной ему родной дѣйствительности.

III

Взгляды Герцена по вопросамъ исторіи Россіи и современной ему русской дѣйствительности.

Изъ біографіи Герцена мы узнаемъ, что романтическая струя идеалиста, сложившагося въ мечтательные тридцатые годы, не замолкала въ Герценѣ довольно долго. Его восторженное отношеніе къ Европѣ до 1848-го года смѣнилось потомъ, послѣ разочарованія, такимъ же восторженнымъ отношеніемъ къ Россіи, какъ къ странѣ, для которой будто бы легче, чѣмъ для какой-либо другой европейской страны, разрѣшить соціальный вопросъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ Герценѣ довольно рано проявилась и другая черта, которой онъ не измѣнялъ всю свою жизнь, и которая не разъ удерживала его отъ слишкомъ смѣлыхъ предсказаній относительно будущаго и черезчуръ прямолинейныхъ сужденій въ области настоящаго. Эта умственная осторожность, если можно такъ выразиться, проявляется и въ вопросѣ о томъ, какой народъ легче другихъ можетъ разрѣшить назрѣвающій съ каждымъ годомъ роковой вопросъ борьбы капитала съ трудомъ. Подобно людямъ, которые, благодаря ограниченности своего горизонта и узкости взглядовъ, удовлетворяются въ своей жизни очень малымъ, есть, по мнѣнію Герцена, и цѣлые народы (напр., китайцы), у которыхъ такія же скромныя, порой просто ничтожныя потребности; найдя наиболѣе удобную форму

общественной жизни для удовлетворенія своихъ потребностей, такіе народы обыкновенно останавливаются въ своемъ развитіи и застываютъ на этой формѣ навсегда. Это соображеніе не можетъ не удерживать слишкомъ увлекающихся оптимистовъ какъ отъ великихъ радужныхъ и легкомысленныхъ надеждъ на какое бы то ни было «послѣднее слово», которое можетъ сказать въ исторіи человѣчества тотъ или другой народъ, такъ и отъ разныхъ неосновательныхъ предсказаній и пророчествъ о той исторической роли, какую можетъ сыграть современемъ данный народъ въ общей семьѣ остальныхъ культурныхъ народовъ.

Въ періодъ остраго разочарованія въ Зап. Европѣ, когда Герценъ утратилъ всякую надежду на возможность быстраго измѣненія ея соціальнаго строя; онъ высказываетъ предположеніе, правда, довольно робко, что—*можетъ быть*—Европа тоже близка къ насыщенію, и—усталая, утомленная своими неудачными попытками устроиться лучше, стремится теперь осѣсть, скристаллизоваться въ прочномъ «мѣщанскомъ» устройствѣ. Сравнительно съ предшествовавшимъ ему военно-олигархическимъ строемъ, „мѣщанское устройство“ представляетъ собою несомнѣнный шагъ впередъ, но Герценъ не допускаетъ даже и мысли, чтобы «все человѣчество дошло до мѣщанства и застряло на немъ окончательно.» Правда, нѣкоторые народы (главнымъ образомъ народы германской расы) чувствуютъ себя въ мѣщанскомъ устройствѣ какъ рыба въ водѣ, зато другіе тяготятся имъ, стремятся найти изъ него какой-нибудь выходъ. Народы романской расы и въ особенности славяне вполнѣ справедливо кажутся Герцену менѣе другихъ способными примириться съ буржуазнымъ строемъ жизни, потому что ихъ общественные идеалы выше этого строя, переросли его. Вотъ почему «реформація» русской жизни должна, по убѣжденію Герцена, начаться съ со-

знательнаго возвращенія къ началамъ, признаннымъ народнымъ смысломъ и вѣковымъ обычаемъ. Отрекаясь отъ формъ, навязанныхъ народу извнѣ и потому совершенно чуждыхъ ему, мы только продолжаемъ насильно прерванное историческое движеніе, вводя въ него новую силу,—силу человѣческой мысли. Энергично отстаивая надѣленіе крестьянъ землей и крестьянское самоуправленіе, Герценъ считаетъ искусственное разрушеніе общины варварствомъ, преступленіемъ противъ исторіи; но онъ не требуетъ непремѣннаго сохраненія общины въ томъ именно видѣ, въ какомъ она существовала искони вѣковъ. Напротивъ, дорожа ею, какъ ячейкой, изъ которой при благопріятныхъ условіяхъ могутъ выработаться болѣе совершенныя общественныя формы, онъ ставитъ обязательнымъ условіемъ этого развитія *постепенное видоизмѣненіе* этого соціальнаго института въ зависимости отъ общаго хода развитія, въ союзѣ съ наукой и мыслью, съ опытомъ предшествовавшихъ поколѣній. Подчеркивая преимущества Россіи передъ другими европейскими государствами въ дѣлѣ соціальнаго обновленія человѣчества, Герценъ дѣлаетъ все-таки со свойственной ему осторожностью довольно серьезную оговорку. Изъ того, что нѣкоторые народы имѣютъ своимъ идеаломъ болѣе совершенное, чѣмъ «мѣщанство», общественное устройство, вовсе не слѣдуетъ,—говоритъ онъ,—что они непремѣнно достигнутъ высшаго состоянія или не свернутъ на буржуазную дорогу. Одно стремленіе къ чему-нибудь, хотя бы и очень хорошему, еще ничего не обезпечиваетъ, потому что недостаточно знать, что такое-то устройство намъ противно, а надобно еще знать, какого именно строя мы хотимъ и возможно ли его осуществленіе. Вѣдь впереди много возможностей: самые буржуазные народы могутъ «взять другой курсъ», пойти по новой дорогѣ; и наоборотъ—самые поэ-

тическіе сдѣлаться лавочниками. Мало ли стремленій и возможностей гибнетъ, развитій отклоняется?—спрашиваетъ онъ.

Коснувшись вопроса объ отношеніи Россіи къ Зап. Европѣ, Герценъ говоритъ, что дѣло вовсе не въ томъ, догнали ли мы Западъ или нѣтъ, (о чемъ такъ безпокоятся наши „самобытники“), а въ томъ, слѣдуетъ ли догонять его по длинному шоссе, когда можно пуститься въ объѣздъ. «Намъ кажется, что, пройдя западной дрессировкой, подкованные ею мы можемъ стать на свои ноги и вмѣсто того, чтобы твердить чужіе зады и примѣривать стоптанные сапоги, намъ слѣдуетъ подумать, нѣтъ ли въ народномъ быту, въ народномъ характерѣ нашемъ, въ нашей мысли, въ нашемъ художествѣ, чего-нибудь такого, что можетъ имѣть притязаніе на общественное устройство несравненно выше западнаго. Хорошіе ученики часто переводятся черезъ классъ». Но въ русской жизни есть нѣчто такое, что кажется Герцену выше общины и государственнаго могущества: это та внутренняя сила, которая, несмотря на всѣ неблагопріятныя условія исторической жизни Россіи, сохранила лучшія черты психическаго склада нашего крестьянина, и на царскій приказъ учиться отвѣтила черезъ сто лѣтъ колоссальнымъ явленіемъ Пушкина. Въ то время, какъ другіе народы Европы чувствуютъ себя усталыми и отжившими, Россія, благодаря этой внутренней силѣ, является народомъ полнымъ юношескихъ стремленій и вѣры въ ожидающее его будущее. Передъ лицомъ исторіи русскій человѣкъ бѣднѣе бедуина пустыни, бѣднѣе еврея: въ прошломъ у насъ нѣтъ великихъ преданій, которыми стоило бы дорожить или которыя слѣдовало бы отстаивать. Но въ этой бѣдности есть и своя свѣтлая, утѣшающая сторона: намъ легче, какъ показываетъ опытъ чѣмъ кому бы то ни было, освободиться отъ самихъ себя, отъ вѣры

и нравовъ своихъ отцовъ. «Мыслящій русскій человѣкъ—самый свободный человѣкъ на свѣтѣ; что можетъ его остановить? Уваженіе къ прошлому? Мы свободны, потому что начинаемъ жить съизнова. Мы независимы, потому что ничего не имѣемъ»,—говоритъ Герценъ въ своемъ письмѣ къ Мишле (22 сент. 1851 г.). У насъ нѣтъ умилительныхъ свѣтлыхъ воспоминаній, идущихъ изъ рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе; мы—бѣдное мужичье государство, «les gueux» міра сего, у которыхъ нѣтъ ничего, кромѣ стремленій, кромѣ вѣры въ себя. Благодаря исключительнымъ историческимъ условіямъ, при которыхъ совершалось развитіе русскаго общества, мы, будучи лишены возможности заниматься своими собственными дѣлами, перебирали отъ скуки дѣла не только давно рѣшенныя въ Европѣ, но и сданныя уже въ архивъ; при этомъ мы нашли, что дѣла эти большей частью или вовсе не рѣшены, или рѣшены пристрастно. Отъ этого мы спрашиваемъ и доискиваемся тамъ, гдѣ западно-европейскій умъ только справляется и отвѣчаетъ» Въ этомъ неуваженіи къ общимъ предразсудкамъ Герценъ видитъ одну изъ національныхъ особенностей русской мысли, русскаго духа. Русскій человѣкъ лѣнивъ умомъ, проводитъ большую часть жизни въ спячкѣ или дремотѣ, но когда просыпается, его трудно бываетъ убаюкать авторитетами. «Не принося съ собой никакихъ унаслѣдованныхъ догматовъ, безъ связи со своимъ былымъ, книжно-соединенный съ чужими преданіями, онъ свободно и безбоязненно щупаетъ, осматриваетъ и качаетъ головой тамъ, гдѣ не вѣритъ. Отъ этого онъ не благоговѣетъ безъ разбора, но и не презираетъ по наслѣдству».

Вѣра въ Россію, въ ея живыя творческія силы не покидала Герцена въ теченіе всей его публицистической дѣятельности, даже въ минуты самыхъ горькихъ разочарованій, какія ему тогда причи-

няла родная дѣйствительность. Россію онъ считаетъ фактомъ, который необходимо прежде всего признать, для того чтобы разобрать его и понять. «Мы можемъ разсуждать, слѣдовало или не слѣдовало быть, напр., Монблану въ Савойѣ, но это будетъ совершенно праздное разсужденіе: Монбланъ—фактъ, котораго не сотрешь никакимъ разсужденіемъ»... Герценъ признаетъ, что современная общественная жизнь Россіи не можетъ похвастаться какими-нибудь свѣтлыми и бодрящими духъ явленіями, но въ самомъ неустройствѣ Россіи въ ея неловкихъ движеніяхъ, онъ видитъ молодую мощь будущаго богатыря: «чувствуется,—говоритъ онъ,—что въ этой колыбели, въ этихъ туго - затянутыхъ свивальникахъ расправляетъ члены будущая исторія. Участвовать въ ростѣ и судьбахъ такого народа—огромное, великое дѣло». Весь новый періодъ нашей исторіи, начиная съ Петра Великаго, представляется Герцену какой-то загадкой; такой же загадкой кажется ему и нашъ настоящій бытъ—этотъ разноначальный хаосъ взаимно-противоположныхъ направленій, гдѣ иной разъ вспыхиваетъ что-то европейское, прорѣзывается что-то широкое и человѣческое, и потомъ тонетъ или въ болотѣ косно-страдательнаго славянскаго характера, или въ волнахъ дикихъ понятій о народности исключительной, понятій, какъ трупные черви, выползающихъ порой изъ сырыхъ могилъ. До крымской войны никто и не подозрѣвалъ внутренней работы Россіи: за нѣмыми устами всѣ предполагали нѣмой умъ и нѣмое сердце, а между тѣмъ критическая мысль, сѣмена которой залетали по временамъ Богъ вѣсть откуда-то издалека, постепенно разъѣдала и подтачивала устои, на которые опиралась жизнь до-реформенной Россіи. Когда устои эти, съ паденіемъ Севастополя окончательно рухнули,—скрытое внутри, сдавленное движеніе вырвалось наружу со всей мощью искусственно сжатой силы, то забѣгая

впередъ, то отставая, то отклоняясь въ сторону. Произошло это отътого, что задержать ростъ такъ же невозможно, какъ воспрепятствовать посѣянному и уже взошедшему зерну превратиться въ свое время въ зрѣлый колосъ. Къ счастью для человѣчества, судьбы народовъ совершаются независимо отъ желанія отдѣльныхъ лицъ; человѣку дана только власть «пособлять» силамъ природы, а не останавливать ихъ; вотъ этой-то властью и должно пользоваться, чтобы направлять свой народъ въ сторону дальнѣйшаго прогрессивнаго развитія, а не попятнаго движенія къ тому, что умерло безвозвратно. «Когда народъ созрѣлъ и ясно заявляетъ свои требованія и права на лучшую жизнь, тогда надо смѣло рѣшаться на улучшенія и давать ихъ народу вполнѣ, а не клочками, не торгуясь изъ-за уступокъ, въ которыхъ приходится жертвовать своимъ личнымъ интересомъ»... Переживаемый нашей страною моментъ, характеризующійся такимъ огромнымъ подъемомъ общественнаго самосознанія, какъ нельзя лучше доказываетъ справедливость только что цитированныхъ мыслей Герцена. Какъ бы ни задерживался ростъ этого самосознанія, какія бы преграды ни ставились ему на пути, историческій ходъ вещей долженъ неизбѣжно снести всѣ эти искусственныя преграды, разъ въ условіяхъ народной жизни оказываются назрѣвшими такіе потребности и запросы, которые настойчиво требуютъ замѣны отжившихъ старыхъ формъ—новыми, болѣе соотвѣтствующими данному моменту...

Вѣра въ Россію, въ русскій народъ, не мѣшала все-таки Герцену высказывать порою и горькія истины по адресу своей родины. Его художественную натуру глубоко огорчаетъ, что всякое историческое явленіе, просѣянное сквозь рѣшето ежедневности, вездѣ и всегда теряетъ для современника свою грандіозность; «но въ Россіи,—говоритъ онъ,—къ этому еще присоединяется такая

пошлость обстановки, такая неправда, такая нравственная золотушность, что признаюсь по совѣсти, любоваться Россіей можно только издали, съ береговъ Женевскаго озера, или въ гаданіяхъ о будущемъ, въ созерцаніи прошедшаго». Чтобы жизнь въ Россіи была сколько-нибудь сносной, надобно постоянно напоминать самому себѣ и толковать другимъ объ общемъ всеміірно-историческомъ значеніи Россіи, «надобно постоянно влѣзать на какую-нибудь верхушку историческаго созерцанія, съ высоты которой только можно мириться съ русской ежедневностью». Русскую жизнь, не установившуюся, задержанную, искаженную въ своемъ развитіи, вообще трудно понимать безъ особаго къ ней сочувствія, но это пониманіе становится особенно труднымъ, благодаря нѣмецкому переводу (при томъ дурному), въ которомъ мы только и читаемъ эту жизнь. Она ускользаетъ отъ готовыхъ чужихъ опредѣленій, не поддается имъ, а сама не достигла еще того отстоявшагося полнаго сознанія и отчета, которые являются у старыхъ культурныхъ народовъ вмѣстѣ съ сѣдиной. Какъ понималъ Герценъ *патріотизмъ* въ истинномъ значеніи этого слова, видно изъ письма Герцена къ одному польскому патріоту: «Развитой человѣкъ,—пишетъ Герценъ,—можетъ любить по сердцу, по уму свою родину, служить ей, умереть за нее, но патріотомъ быть не можетъ. Христіанство еще восемнадцать вѣковъ тому назадъ стало полоть эту языческую добродѣтель, но ничего не сдѣлало, потому что обращало людей къ другой родинѣ, существующей на небѣ. Ее выполетъ соціализмъ снятіемъ земныхъ границъ, но отъ этого люди, должно быть, еще очень далеки, если даже мы съ вами хлопочемъ о ихъ обозначеніи»... Къ сожалѣнію, на этотъ разъ Герценъ былъ слишкомъ правъ, потому что даже и въ наши дни, т. е. почти полвѣка спустя послѣ того, какъ написаны эти строки, все еще



раздаются громкіе и неистовые вопли разныхъ самозванныхъ «спасателей отечества» проповѣдующихъ во имя патріотизма самыя человѣконенавистническія идеи. Упорная борьба, которую приходится все время вести русской прогрессивной печати съ узконаціоналистическими вожделѣніями нашей консервативной и реакціонной партій, наглядно показываетъ, какъ много еще темныхъ силъ, стремящихся прикрыть свое идейное убожество шумихой громкихъ фразъ и разныхъ quasi-высокихъ словъ...

Мы уже видѣли, въ *какой* Европѣ разочаровался Герценъ, какія именно формы западно-европейской общественной жизни онъ обрекалъ на смерть и неизбѣжное исчезновеніе; остановимся теперь нѣсколько подробнѣе на вопросѣ о томъ, въ какую Россію вѣрилъ Герценъ.

Отрицая жизнеспособность «гнилого Запада», славянофильское ученіе, какъ извѣстно, признаетъ, что единственный міръ будущаго—это славянскій міръ, наиболѣе сильнымъ и типичнымъ выразителемъ идеаловъ котораго является Россія. Вѣра въ провиденціальное назначеніе Россіи, долженствующей обновить умирающій западный міръ, являясь однимъ изъ важнѣйшихъ догматовъ славянофильства, тѣсно связана съ вѣрой въ самобытность и вѣковѣчность устоевъ національной русской жизни, что въ свою очередь ведетъ за собой отрицательное отношеніе къ реформѣ Петра Великаго и ко всему такъ-называемому «петербургскому періоду» нашей исторіи. Разницу между славянофилами и западниками самъ Герценъ опредѣляетъ въ слѣдующихъ словахъ: «они (славянофилы) всю любовь, всю нѣжность перенесли на свою угнетенную мать. У насъ, воспитанныхъ внѣ дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ французской гувернантки, довольно поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались

по сходству въ чертахъ да потому еще, что ея пѣсни были намъ роднѣе водевилей. Мы сильно ее полюбили, но... мы знали, что ея счастье *впереди* (тогда какъ славянофилы видятъ золотой вѣкъ *позади*) что подъ ея сердцемъ бьется зародышъ, нашъ меньшой братъ, которому мы безъ чечевицы уступимъ старшинство». Изъ этихъ строкъ ясно видно, въ какую Россію вѣрилъ Герценъ: это Россія будущаго, но никакъ уже не прошедшая, даже не настоящая. Онъ вѣрилъ въ будущность своей родины, какъ мы вѣримъ вообще въ будущее народа молодого, имѣющаго свою исторію въ прошломъ, полнаго юношескихъ стремленій въ настоящемъ. Уже въ одномъ изъ своихъ раннихъ писемъ (1 марта, 1841 г.) Герценъ высказываетъ мысль, что послѣ нашего времени начнется для Россіи періодъ органическаго субстанціальнаго развитія, и при томъ—*чисто человѣческаго*. Періодъ преобразованія Россіи въ европейское государство, потребовавшій столько неистовыхъ и кровавыхъ мѣръ, приходитъ къ концу и долженъ смѣниться положительной ролью европейски-національной державы, въ которой она и предстанетъ міру со временемъ. Позднѣе эта вѣра въ необходимость, неизбѣжность для Россіи превращенія въ европейское государство на общечеловѣческихъ, а не узко-національныхъ началахъ, опредѣлилась яснѣе, вылилась въ болѣе строгія и точныя формулы. За свою исторію, по мнѣнію Герцена, должны отвѣчать только тѣ народы, которые развивались органически, безъ рѣзкихъ перерывовъ, которые могутъ гордиться своимъ славнымъ прошлымъ; мы же напротивъ, только разрывая съ нашимъ прошлымъ, идемъ впередъ. «Въ этомъ отношеніи,—говоритъ онъ,—мы скорѣе похожи на двуутробку, бѣгущую съ обнищалаго поля, унося свое будущее поколѣніе, чѣмъ на верблюда, несущаго черезъ степи кивотъ со старымъ завѣтомъ».

Реформаціонная дѣятельность Петра Великаго подверглась, какъ извѣстно, жестокой критикѣ прежде всего со стороны представителей высшихъ привилегированныхъ классовъ; даже такая высокообразованная для своего времени женщина, какъ кн. Дашкова, высказываетъ въ своихъ «Запискахъ» неудовольствіе противъ Петра Великаго за то, что онъ посылалъ дворянъ за границу учиться. «Если нуждались въ рабочихъ рукахъ,—пишетъ она,—то каждый дворянинъ охотно послалъ бы за себя 3—4 человѣка своей дворни». Въ XIX вѣкѣ Петровская реформа обсуждается въ связи съ вопросомъ о значеніи въ исторіи государственнаго начала, а также и тѣхъ важныхъ послѣдствій, какія оказало западно-европейское вліяніе на всѣ стороны русской общественной жизни. По ученію славянофиловъ, петербургскій періодъ нашей исторіи представляетъ собой насильственное сочетаніе различныхъ культурныхъ типовъ—Россіи и Европы, двухъ разнородныхъ міровъ, будто бы не имѣющихъ ничего общаго между собою. Преобразованія Петра I совершенно исказили характеръ нашихъ частныхъ, семейныхъ и общественныхъ отношеній: государство, разорвавъ всякую связь съ землею и подчинивши ее своей власти, положило тѣмъ самымъ начало новому порядку вещей,—такъ думаетъ одинъ изъ столбовъ славянофильства, И. С. Аксаковъ, Въ дѣйствительности же, «единеніе» земли, какъ совокупности свободныхъ народныхъ общинъ, и власти, какъ охранительницы внѣшняго порядка, существовало лишь въ воображеніи ученыхъ, идеализировавшихъ и продолжающихъ идеализировать старую—московскую Русь. Крѣпостнымъ правомъ въ области соціально-экономической и системой приказнаго правленія въ сферѣ политической, населеніе московскаго государства довольно рано раздѣлилось на высшіе и низшіе классы. При Петрѣ I и его преемникахъ это пирамидальное строеніе

общества только рѣзче опредѣляется, чѣмъ это было прежде. Правовыя и имущественныя различія, существовавшія съ основанія государства, усиливаются еще различіемъ въ степени и типѣ культуры: въ высшіе, привилегированные классы проникаютъ чужеземныя понятія, нравы, обычаи, новыя начала образованности и общественности, не имѣющія ничего общаго съ народнымъ міросозерцаніемъ и складомъ народной жизни. О какомъ же «единеніи» можно серьезно говорить при подобныхъ условіяхъ?

Герценъ считаетъ Петра I самымъ полнымъ типомъ эпохи, призванной имъ къ жизни; это— жестокій геній, начавшій, такъ сказать, каторжную работу нашей исторіи, продолжающуюся полтора вѣка и достигнувшую колоссальныхъ результатовъ. Герценъ согласенъ со славянофилами въ томъ, что реформа Петра убила весь московскій періодъ нашей исторіи: «онъ разсѣялся, какъ дымъ и тихо перешелъ въ какое-то книжное воспоминаніе, и то не у народа, а у ученыхъ и духовенства». Но то, что было съ московскимъ періодомъ, неминуемо должно случиться, по убѣжденію Герцена, и съ петербургскимъ,— бюрократически-централизаціоннымъ періодомъ, «приказнымъ строемъ», какъ нынѣ принято его называть. Нашъ государственный строй постепенно реорганизовался, хотя и довольно медленно: процессъ раскрѣпощенія сословій, закрѣпощенныхъ нѣкогда государствомъ, растянулся почти на два столѣтія. Жалованная грамота дворянству 1785 г. завершила дворянскую эмансипацію; крестьянская реформа 1861 года положила начало еще болѣе важной и далеко еще не законченной эмансипаціи народной массы. «Намъ нечего заводить вновь или усиливать тотъ бюрократическій строй, который господствовалъ до послѣдняго времени, да пожалуй кое-гдѣ еще господствуетъ и до сихъ поръ въ Зап. Европѣ. Развитіе бюрократіи въ

з.-европейскихъ странахъ объясняется тѣмъ, что тамъ главное—города, а села имъ подчинены; у насъ же городовъ нѣтъ, потому что нашъ городъ въ большинствѣ случаевъ только по названію городъ, а не въ дѣйствительности. Главное у насъ села: дайте селамъ устроиться своимъ путемъ, и Россія останется спокойной, да и правительству будетъ легче».

Петръ В., конечно, былъ геній, — одинъ изъ тѣхъ геніевъ, которые родятся вѣками. Но въ наше время, чтобы продолжать его дѣло, вовсе не нужно быть геніемъ. Герценъ даже думаетъ, что геній въ данномъ случаѣ повредилъ бы многому, какъ это было съ самимъ Петромъ I: «онъ втѣснилъ бы свою личную волю на мѣсто зародышей, которые взошли и которыхъ не надо только ни полоть, ни топтать, ни насиловать, предоставляя имъ самимъ рости и устраняя препятствія». Петру В. приходилось создавать и казнить: въ одной рукѣ у него былъ заступъ, въ другой—топоръ. Онъ дѣлалъ просѣки въ дикомъ первобытномъ лѣсу и, разумѣется, рядомъ съ дурнымъ могъ порубить иное и хорошее; притомъ онъ вбилъ намъ просвѣщеніе такимъ клиномъ, что Русь не выдержала и треснула на два слоя. Образовавшійся при этомъ «расколѣ» основной слой такъ и остался до сихъ поръ почти въ своемъ первобытномъ состояніи, совершенно въ сторонѣ и внѣ благотворнаго вліянія тѣхъ культурныхъ благъ, которыми пользуется до извѣстной степени другой—болѣе верхній слой. И только теперь, черезъ двѣсти лѣтъ сдѣлалось ясно, какъ раздвинулась эта трещина, и какъ опасно дальнѣйшее ея увеличеніе... Отъ указанія нѣкоторыхъ слабыхъ сторонъ въ преобразовательной работѣ Петра I, конечно, еще далеко до отрицанія великаго историческаго значенія этой реформы или признанія ее ненужной, можетъ быть—даже вредной. При всемъ желаніи найти что-нибудь подоб-

ное въ сочиненіяхъ Герцена, этого нельзя сдѣлать: колоссальная фигура великаго преобразователя русской земли выступаетъ все время подъ перомъ Герцена въ такомъ яркомъ, вполнѣ достойномъ ея освѣщеніи, что врядъ ли еще можетъ оставаться какое-нибудь сомнѣніе въ рѣшеніи вопроса о томъ, какъ именно относился Герценъ къ реформѣ Петра; а вѣдь то или другое отношеніе къ этой реформѣ, какъ мы уже сказали,— своего рода пробный камень для отличія западника отъ славянофила, самобытника—отъ сторонника общечеловѣческихъ началъ въ культурѣ.

Исходной точкой для сужденія о реформѣ Петра I долгое время служило убѣжденіе въ возможности крупныхъ и внезапныхъ переворотовъ, не подготовленныхъ всѣмъ предшествующимъ ходомъ историческаго развитія. Но теперь, послѣ цѣлаго ряда крупныхъ историческихъ трудовъ и изслѣдованій, мы уже знаемъ, что реформа Петра была только итогомъ, конечнымъ выводомъ всего предыдущаго развитія. Петръ Великій только лучше другихъ понялъ и удачно разрѣшилъ назрѣвшіе вопросы времени. Руководящимъ принципомъ въ дѣятельности Петра являлось не расширеніе предѣловъ отечества, не организаціи бюрократическаго строя по европейскимъ образцамъ, но сознаніе потребности создать для Россіи условія, необходимыя для національнаго развитія на началахъ общечеловѣческой культуры и цивилизаціи. Итти въ настоящее время по слѣдамъ Петра В.—не значитъ разсуждать и дѣйствовать такъ именно, какъ разсуждалъ и дѣйствовалъ Петръ Великій: экономическая эволюція выдвинула на первый планъ новыя задачи, которыя требуютъ и новыхъ средствъ для ихъ разрѣшенія. Но значеніе государства, какъ фактора культуры, не только не уменьшилось въ наше время, но скорѣе возросло и вширь и вглубь. Благо народа и польза государства, сближеніе русской жизни съ обще-

европейской, какъ необходимое условіе нашего дальнѣйшаго національнаго развитія,—таковы намѣченные еще той эпохой преобразованія историческіе пути и высокія нравственныя задачи государственной дѣятельности.

IV

Заключеніе.

Все вышесказанное даетъ полное право заключить, что Герцена нельзя причислить ни къ западникамъ, ни къ славянофиламъ въ общепринятомъ значеніи этихъ терминовъ. Въ высшей степени сложная и крайне индивидуалистическая личность Герцена нелегко мирилась съ готовыми чужими формулами, и—какъ всѣ яркіе и крупные умы—стремилась установить по каждому вопросу свою собственную точку зрѣнія, свой собственный взглядъ. Можно смѣло сказать, что въ разрѣшеніи большей части общественно-политическихъ и соціальныхъ вопросовъ, волновавшихъ современное ему поколѣніе и въ Россіи, и въ З.-Европѣ, Герценъ старался проложить свой собственный путь, шелъ своей дорогой. Иногда эта дорога отклонялась влѣво—въ сторону западническаго ученія, иногда онъ бралъ вправо, становясь въ данномъ частномъ вопросѣ на ту же позицію, на которой стояли и нѣкоторые изъ выдающихся представителей сланянофильскаго лагеря того времени. Но чаще всего это была его личная—герценовская дорога, свидѣтельствовавшая о несомнѣнномъ оригинальномъ умѣ писателя, не чуждомъ противорѣчій, но всегда честномъ и искреннемъ.

Обращаясь къ западничеству 40-хъ годовъ, мы должны принять во вниманіе, что существен-



нымъ признакомъ этого ученія далеко не было «слѣпое преклоненіе» передъ формами западно-европейской жизни, какъ совершенно несправедливо обвиняли въ этомъ западниковъ ихъ противники—славянофилы, а нѣчто гораздо болѣе важное и глубокое, а именно: *психологическое тяготѣніе* западниковъ къ Европѣ, къ ея духовнымъ богатствамъ и культурнымъ «формамъ», гарантирующимъ западно-европейскимъ народамъ непрерывное прогрессивное развитіе по пути духовнаго и матеріальнаго усовершенствованія своей жизни. Рѣзко отличая Европу отъ Россіи, отдѣленной въ то время отъ культурнаго міра высокой стѣной всевозможныхъ запрещеній и ограниченій, эти «формы» не могли, разумѣется, не плѣнять собою тотъ передовой слой русской интеллигенціи, который относился къ окружающей его родной дѣйствительности вполнѣ критически. Но это «плѣненіе» не влекло за собой отрицанія западниками русской національности, поскольку исторически выработанная индивидуальность послѣдней отличается отъ западно-европейскихъ національностей, и ни мало не мѣшало западникамъ по своему любить и Россію, и русскій народъ. Только любовь къ родинѣ, какъ всякая сознательная любовь, не заставляла ихъ закрывать глаза на темныя стороны русской дѣйствительности, которыя старались всячески оправдать или съ которыми не хотѣли считаться сторонники славянофильства.

Не надо при этомъ забывать и того, что пропасть, раздѣляющая въ наше время западниковъ и славянофиловъ, не была въ эпоху 40-хъ годовъ слишкомъ значительной. Эта пропасть раздвинулась гораздо шире уже впослѣдствіи, когда на смѣну талантливыхъ, европейски образованныхъ и искренно убѣжденныхъ вождей славянофильства, какъ Хомяковъ, Самаринъ, К. Аксаковъ, Кирѣевскіе и др., появились такіе эпигоны славяно-

фильскаго полка, какъ Страховъ, Леонтьевъ, Комаровъ... Неудивительно поэтому, что Герценъ могъ итти съ современными ему славянофилами по одной дорогѣ, по крайней мѣрѣ — до тѣхъ поръ, пока пути ихъ не расходились и продолжалось взаимное пониманіе. И не только итти вмѣстѣ, но и уважать славянофиловъ, какъ честныхъ, хотя и заблуждающихся, противниковъ. Это подтверждается и личными отношеніями его къ выдающимся представителямъ славянофильскаго лагеря, пока онъ былъ въ Россіи, и его позднѣйшими письмами и сочиненіями, написанными уже «съ того берега». Вотъ что, напримѣръ, писалъ Герценъ по поводу смерти К. Аксакова, извѣстіе о которой нашло въ его чуткой душѣ самый живой откликъ: «Рано умеръ Хомяковъ, еще раньше Аксаковъ... Больно людямъ, любившимъ ихъ, знать, что нѣтъ больше этихъ дѣятелей, благородныхъ, неутомимыхъ, что нѣтъ этихъ противниковъ, которые были ближе намъ многихъ своихъ... У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чувство,—чувство безграничной, охватывающей все существованіе, любви къ русскому народу, къ русскому быту, къ русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ, смотрѣли въ разныя стороны, въ то время какъ сердце билось одно»...

Помимо этого страстнаго, «физіологическаго, какъ выражается Герценъ, чувства національности, его сближалъ съ славянофилами и ихъ широкій демократизмъ, такъ выгодно отличавшій славянофильское ученіе того времени отъ западническаго. Извѣстно, что наканунѣ великой реформы 19 февраля славянофильство обнаружило гораздо бо́льшую жизненность и болѣе живое отношеніе къ вопросамъ русской современности, чѣмъ теоретическое западничество, гораздо болѣе интересовавшееся общими (политическими и со-

ціальными) вопросами, чѣмъ русскими бытовыми. Проявляясь своей лучшей, прогрессивно-демократической стороной, тогдашнее славянофильство возбуждало интересъ и симпатіи къ себѣ даже такихъ убѣжденныхъ западниковъ, какъ Тургеневъ, поддерживавшій самую дружескую переписку съ Аксаковыми. Но увлекаясь славянской или точнѣе русской идеей, Герценъ даже въ самый разгаръ своего увлеченія «руссофильскимъ мессіанизмомъ» обращаетъ все-таки свои взоры къ будущему, а не къ прошлому, въ сторону котораго тянули правовѣрные славянофилы. При такихъ условіяхъ могло быть взаимное уваженіе и довѣріе, но истиннагб сближенія существовать не могло, тѣмъ болѣе, что славянофилы были все-таки фанатиками своей идеи, не чуждыми нетерпимости даже въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей. Ближе всѣхъ изъ нихъ подходилъ къ общечеловѣческому идеалу, всегда служившему путеводной звѣздой для Герцена, Самаринъ, но и въ немъ было еще много чисто славянскаго духа; К. Аксаковъ, при всемъ благородствѣ своихъ общественно-политическихъ взглядовъ все-таки не могъ подняться выше «москвофиліи», никогда не могшей увлечь Герцена всецѣло. Русская идея была для него не реставраціей отжившихъ идей и формъ народной жизни, а только починомъ въ великомъ дѣлѣ созданія будущаго, пути котораго—какъ казалось ему—не должны расходиться съ путями общечеловѣческаго прогресса. При такой точкѣ зрѣнія разрывъ Герцена съ славянофилами былъ рано или поздно неизбѣженъ и разрывъ этотъ, какъ мы знаемъ изъ его біографіи, въ концѣ концовъ совершился...

Удачнѣе всѣхъ, по нашему мнѣнію, опредѣлилъ свое мѣсто между западниками и славянофилами самъ Герценъ въ своемъ «Дневникѣ», въ 1834-мъ году, т. е. въ самый разгаръ борьбы между обоими лагерями. «Странное положеніе

мое,—пишетъ онъ 17-го мая,—какое-то невольное *juste milieu* въ славянскомъ вопросѣ: передъ ними (славянофилами) я—человѣкъ запада; передъ ихъ врагами (западниками)—человѣкъ востока. Изъ этого слѣдуетъ, что для нашего времени эти одностороннія опредѣленія не годятся»... Единственное объясненіе этого «страннаго положенія», обрекавшаго Герцена на роль «juste milieu», заключается въ томъ, что онъ дѣйствительно не былъ ни славянофиломъ, ни западникомъ. Онъ былъ только, какъ каждая крупная личность, самимъ собою, былъ Герценомъ...

ОГЛАВЛЕНІЕ.

